

№ 2 (6)

июнь 2017

# ЭТАЖИ

литературно-художественный журнал

## *Авторские этажи. Поэзия*

Игорь Казаков  
Марина Эскина  
Владимир Глазов  
Марина Немарская  
Максим Жегалин  
Стас Степанов

## *Авторские этажи. Проза*

Улья Нова  
Татьяна Щербина  
Светлана Волкова  
Константин Семёнов

*Музыкальная гостиния*  
Андрей Коробейников

*Литературная кухня*  
Прогулки с Синявским-Терцем

«Мне бы – только малую слабинку – всё-таки совсем не умереть»

Режиссёр Нина Зарецкая – о съёмках фильма с Евгением Евтушенко

Мария Шандалова

**Этажи. № 2 (6) июнь 2017**

«Издательские решения»

**Шандалова М.**

Этажи. № 2 (6) июнь 2017 / М. Шандалова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-854082-0

Журнал имеет электронную и печатную версии. Печатный журнал выходит четыре раза в год. В него отбираются лучшие публикации, размещенные в электронном журнале. Редакция отдает предпочтение новым, не опубликованным ранее материалам.

ISBN 978-5-44-854082-0

© Шандалова М.  
© Издательские решения

## Содержание

Марина Эскина	6
«Пахнет солнцем...»	6
«Рассчитайся на первый-второй...»	7
«Дерево раскрывает большие розовые цветы...»	8
«Нам терпенья не занимать – попутного слова ждать...»	9
Вариации на тему 62-го псалма	10
«В паутине зимнего тумана...»	11
«Кому от огня, кому от меча, кому от воды...»	12
«Повезло тебе, повезло: ещё, может быть, лет пять...»	13
До первой любви	14
Центон	15
Сон	16
Светлана Волкова	17
Поклонница	17
Владимир Глазов	21
«Вдруг оторвешься от стишка...»	21
Партия в шахматы	22
«И медленно и неправильно...»	23
В потемках	24
40 ватт	25
«Я научился жить не торопясь...»	26
«У меня налицо черты оседлости...»	27
«Чепуха, говорю, ерунда, пустяки...»	28
Улья Нова	29
Темнота	29
Игорь Казаков	35
В Немало-Яицком автономном округе	35
Снова лето к тебе подойдет	37
Юркий зимородок синий	38
Эта женщина	39
Гражданское	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

# Этажи

## № 2 (6) июнь 2017

*Редактор* Мария Шандалова  
*Иллюстратор* Полина Слуцкая  
*Дизайнер обложки* Екатерина Стволова

© Полина Слуцкая, иллюстрации, 2017  
© Екатерина Стволова, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4485-4082-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Главный редактор **Ирина Терра**  
Редактор отдела поэзии **Игорь Джерри Курас**  
Редактор отдела прозы **Улья Нова**  
Редактор рубрики «Литературная кухня»  
**Владимир Гандельсман**  
Редактор рубрики «Чердак художника»  
**Таня Кноссен-Полищук**  
Редактор рубрики «Музыкальная гостиная»  
**Ирэна Орлова**

### **Экспертный совет:**

Вера Павлова  
Дмитрий Воденников  
Даниил Чкония  
Женя Брейдо  
Татьяна Щербина

Макет, оформление и вёрстка **Екатерина Стволова**  
Выпускающий редактор **Мария Шандалова**  
**Иллюстрации Полины Слуцкой**  
**Иллюстрация на обложке Тани Кноссен-Полищук**

Сайт журнала: [www.etazhi-lit.ru](http://www.etazhi-lit.ru)  
Рукописи принимаются по эл. адресу:  
[etazhi.red@yandex.ru](mailto:etazhi.red@yandex.ru)

## Марина Эскина

### «Пахнет солнцем...»

Пахнет солнцем  
или высохшим на солнце бельём,  
или чем-то ещё, что поросло бельём,  
мы принимаем это за счастье,  
но, вопреки подсказке мифологемной,  
счастье – пахнет  
счастьем и сгорает мгновенно,  
обжигая лёгкие, язык, роговицу,  
оно просто не может длиться.

Никто и не обещал нам счастья;  
не зная чего мы ищем,  
переносим его на детей и пищу,  
на балет, на – с придыханием – собаку с кошкой,  
но всегда там есть пресловутого дёгтя ложка,  
это в лучшем случае, а чаще,  
чем слаще заменители,  
тем дальше счастье.

Бог не строг и, когда ожоги позаживали,  
он подмешивает к ложке дёгтя  
слова, детали,  
формулы, форумы, кому – римский,  
кому – всемирный,  
конкурсы на «тоску по родине», ещё кумирни,  
но, кому повезёт – шутка звучит нелепо —  
он даёт сохранить, до поры, горсть золы и пепла.

## «Рассчитайся на первый-второй...»

*памяти пионерской дружины  
имени пограничника А. Д. Гарькавого*

Рассчитайся на первый-второй,  
первый в строй, а второй в перегнутой,  
первый к брусьям, второй – на ковёр,  
холодок по спине до сих пор,

первый с вилами, с дулом второй,  
это двор, увлечённый игрой,  
не казак, не разбойник – стратег,  
я в плену и готовлю побег,

синегубого детства настой  
заедаю сухой немотой,  
соловей наш, разбойник, – жесток,  
голубой хула-хуп мой шесток,

не ходите в разведку со мной,  
пытки мне не стерпеть ни одной,  
и, принять не готова позор,  
я во сне не спускаюсь во двор,

пограничник Гарькавый, прощай,  
на заставе цветёт Иван-чай,  
до свидания, Город-Герой,  
отпустил меня первый-второй.

## «Дерево раскрывает большие розовые цветы...»

Дерево раскрывает большие розовые цветы,  
в каждом живёт фея – уверяет дитя упорно,  
не отворачивайся от простоты красоты,  
феи чистят зубы, спать ложатся, ходят в уборную,  
их кашки потом удобряют клумбу внизу,  
дитя рассказывает, я смеюсь, но верю, смеюсь и верю.  
Мы стоим, взявшись за руки, смотрим, и я грызу  
заусенец, как в том, заросшем сиренью, сквере.  
Сколько солнца, мы залиты им, согреты, облучены,  
говорим на языке фей, родственников кролика, воробьёв,  
напитываясь любовью до последней излучины,  
целуя друг другу ладони, когда не хватает слов.

## «Нам терпенья не занимать – попутного слова ждать...»

Нам терпенья не занимать – попутного слова ждать,  
Облако ли ангел, мы его – хватать,  
загоним в строку, пусть лежит на боку,  
если не служит Богу,  
белоручка и так балдел, болтался без дел,  
зачем-то в подсознание залетел,  
неприкаянный ангел сей, ангел молочных рек, киселей,  
просроченных векселей,  
незрелых плодов из побитых садов,  
ангел лишних слов.  
Ладно, лети себе мимо, вестимо,  
подождём серафима  
шестикрылого, нам подавай – лгунам,  
пересмешникам, горюнам —  
жечь глаголом, углём гореть,  
видеть, слышать, дышать, терпеть,  
гнать, зависеть, не умереть.

## Вариации на тему 62-го псалма

Любишь ли ты человечество так, как люблю его я —  
не очень? Даже сбившееся гуртом, оно ничего не весит;  
завалилось, как трухлявая изгородь, в тупике, как заросшая колея;  
воздух весомее, или что там гоняет по миру вести.

Думают скверно, что ни слово, то – ложь.

Училка Валентина Яковлевна и директор Антон Петрович  
коварнее Дарт Вейдера, им вынь да положь,  
линейкой бьют по рукам за дорогу, уходящую в даль, и «Остров  
сокровищ».

Не разобрав, где сила, где милость, всегда в борьбе,  
человечество поклоняется филантропии, войне, геному.

Благослови меня одной любовью – к тебе,  
глядишь, научусь из неё всему остальному.

## «В паутине зимнего тумана...»

В паутине зимнего тумана  
дождь застрял ночной.  
Вечер, утро? Поздно или рано?  
День – глухонемой  
или притворяется и тихо  
дышит, отгоняя тьму?  
День декабрьский, поздний, стихо-  
творный, покорюсь ему,  
пробиваясь к свету, раздвигая  
сгустки сумерек, пока  
не блеснёт, резвяся и играя,  
первая строка  
молнией,  
иначе сквозь ресницы  
голых веток взгляду не пробиться.

## «Кому от огня, кому от меча, кому от воды...»

Кому от огня, кому от меча, кому от воды,  
От болезни, мора, голода-лебеды...  
Если мне вдруг суждено избежать беды,

Что я буду делать с этим небом-травой,  
С утраченным временем, с больной головой,  
С тем, что пропало и не вернуть, хоть вой,

С тем, что каждый день клянусь изменить,  
Но не меняю, а продолжаю жить,  
Испытывая на прочность нить.

Не выходя из себя, вернусь к себе,  
Посмотрю, может быть, сидит на трубе  
Кто-нибудь между А и Б.

## **«Повезло тебе, повезло: ещё, может быть, лет пять...»**

Повезло тебе, повезло: ещё, может быть, лет пять  
Будут лебеди прилетать на пруд, нырки нырять,  
Будешь адрес искать, нащупывать телефон,  
Не пытаясь звонить сквозь время, плотное, как тефлон,  
Не тревожа память, сны, фрейдистский весь аппарат.  
Понемногу начнёт редеть пантеон, парад  
Мгновений, выхваченных у судьбы, выпрошенных у Него,  
Когда сердце ноет – люблю и знает – кого.  
Когда небо в мелких перистых или совсем без них,  
Когда в редких соснах на дюнах ветер притих,  
Когда солнце низко, и, дыхание задержав,  
Улететь готова, но медлит лететь душа.

## До первой любви

Вдоль реки По прохаживаются голуби,  
в реке – утки, в кустах поют соловьи,  
и легко можно представить себя голыми,  
до грехопадения, до первой любви.  
В городе Турине всё немного ненастоящее  
из-за своей монументальности,  
даже река По лежит, как мертвая ящерица,  
не отражает небо и не блестит.  
До первой любви не было ничего сложного,  
всё уже создано, названо, как по маслу шло,  
и вдруг эта любовь карты спутала и продолжила  
жизнь, перемешав, между делом, добро и зло.

## Центон

Выпей чаю от печали,  
скушай персик от тоски,  
по одежке привечают,  
провожают до доски.

Как художник, мелкий дождик  
меткие кладёт мазки,  
но колеблют твой треножник,  
пачкают тебе мозги.

всё что было сердцу мило,  
всё в тебе, а не вовне.  
Помнишь: очередь за мылом,  
мене текел – на стене.

Хочешь, вольный житель мира,  
звуки гнать из рода в род,  
но прославленного пира  
в рот не лезет бутерброд?

Ждёт тебя твоя берёза  
у помойки во дворе,  
или это рифма «роза»,  
соль звезды на топоре.

## Сон

Слышишь, не плачь, мы поженимся,  
зря ты пугаешься всех глаголов,  
если справились с умножением,  
что делить, разреши мне голову  
положить на твои колени,  
помолчим, как статуи в саду Боргезе,  
под кронами, покровительницами поколений,  
здесь твой замок, моя принцесса.  
Хорошо, что всё так, а не иначе,  
перелетели бездну  
и никогда больше не встретим друг дружку,  
зато мы поженимся,  
я понял – ты плачешь  
от счастья,  
переверни подушку.

## Светлана Волкова

### Поклонница

Белобокий приземистый сельский клуб стоял в самом центре Жихаревки, утопая в поздней персидской сирени, линиялой и отчаянно, «с надрывом», благоухавшей всеми запахами организма. Вокруг, на расчищенном от телег и хлама пяточке, называемом местным людом «майданом», вразнобой стояли самодельные лотки под навесами, выбеленные солнцем и дождём. У канавы, напоминая лихого пропойцу, ржавел грузовичок-полупортка, отдавший концы ещё прошлой осенью. День наливался ясный, жаркий.

Борька Бирман, свежий выпускник Белгородского музыкального училища, оглядел здание клуба и несмело шагнул в его тёмное нутро. В конце пахнущего свежей скипидарной краской коридора, у запятнанного белыми подтёками окна находилась обитая дерматином дверь с табличкой «Зав. клубом тов. Мячиков В. В.». Борька поплевал на пятерню, пригладил непослушные львиные космы и осторожно постучал.

– Войдите, – раздался хриплый басок.

– Мне бы товарища Мячикова, Вэ-Вэ, – робко просунул голову в дверной проём Борька.

– Он самый, – ответил сидевший за столом гражданин, лысоватый и идеально круглый. –

Проходи. Что жмётся, будто тапки мне опозорил?

Борька протянул ему помятый листок.

– Направление вот. По распределению я.

Мячиков взял пухлой ручкой бумажку, долго, в полной тишине, читал её, потом посмотрел на Борьку сквозь очки, такие же круглые, как и сам хозяин, и с разочарованием выдохнул:

– Пьянист?

– Ага.

– Чудненько! Хм...

Было не понятно, радуется он или досадует.

– А на гармони? На гармони можешь?

Борька стыдливо отвёл глаза.

– Не могу.

Мячиков тяжело вздохнул, выплеснул из пластикового стаканчика скрепки и усопшую муху, плеснул туда коричневатой жидкости, пахнущей давленными клопами.

– Отведай коньячку, не побрезгуй.

Борька не побрезговал. Жидкость оказалось ядрёной и плохо проходимой.

– Ты ведь пойми, – придвинул ветчинный нос к Борькиному лицу Мячиков. – Доярки у нас, скотницы. Им что попроще подавай.

– Попроще? – Борька поправил очки. – Может, Рахманинов? Прелюдия до диез минор...

Мячиков поморщился.

– Ну... Или Лист. Венгерская рапсодия? А?

– Может, конечно, и рапсодия... Только опасеньце имею, что без гармони никак... Они что там, – Мячиков ткнул пальцем в потолок, в жёлтое пятно у основания рогатой люстры, – не понимают конъюнктуру села?

Борька пожал плечами.

Просидели они часа три. Мячиков распялялся от дешёвого коньяка и собственной речи, перекатывался по комнате взад и вперёд, изредка рывкая в трубку противно звякавшего чёрного телефона, и призывал собеседника проявить сочувствие к аграриям и его, Мячиковому,

персональному подвигу на посту завклубом. Борька же, быстро осоловев, лишь кивал и уже не пытался убедить его в доступности для доярок фортепьянной классики.

Сошлись на салате из Чайковского, Листа и Штрауса-сына.

– Хоть пасынка! – пьяно всхлипывал Мячиков. – Без гармонии всё одно не разбудёнишь их!

«Разбудёнивать» трудовое население решили по субботам, после лекции о Гагарине и перед танцами. Борьку всунули аккурат посередине.

Репертуар утверждал сам Мячиков, раза по три прослушивая каждое произведение и соображая, нет ли чего в них такого, за что можно поплатиться должностью. Ничего подозрительного в Штраусе не найдя, он похлопал Борьку по плечу и выдал отеческое напутствие:

– Ты только, это, у хозяйки, у которой живёшь, возьми ведро.

– Зачем? – удивился Борька.

– Народ у нас горячий. Не понравится твоё бряцанье – не обессудь.

А так хоть голову ведром прикроешь... – ответил Мячиков и зафыркал, как нализовавшийся шерсти кот.

В день премьеры на стене клуба повесили афишу:

«Бирман Б. Н. Фортепьянный концерт. Чайковский, Лист и Штраус-сын. Начало в 18:00».



Под аккуратно выведенными плакатной тушью буквами вилась приписка чернилами от руки «Кто удерёт, пеняйте, суки, на себя. Вычтем трудодни». Подписи не стояло.

На «Гагарине» клуб заполнился до отказа. Внесли даже запасные скамьи. Мужики и парни – в пиджаках и штанах, заправленных в сапоги, женщины и девки – кто в чём, но обязательно в ярком. Были даже в крепдешине и с причёсками. Борька оценил.

После лекции мужики потянулись с куревом к выходу, но дверь заполнил собой Мячиков, наряженный по случаю концерта в рубаху-вышиванку.

– А ну, пру!!! – забасил он, как на коров. – Назад! Щас культура будет!

Сельский люд побранился, но вернулся на места.

Первые пятнадцать минут слушали степенно, с суровыми лицами. Борька закончил с Чайковским, собрал неуклюжие аплодисменты и приступил к Листу. Краем глаза он косился в зал на смурные, налитые недовольством колхозные лица, и таившаяся где-то под диафрагмой чуйка подсказывала ему, что до «сына» он может и не дойти.

Борька набрал полную грудь воздуха, ударил по клавишам, картинно запрокинув голову назад, как по его мнению полагалось делать виртуозам, уже не думая о том, что может запросто сбиться с нот, тяжело выдохнул, вернул башку в естественное положение и тут на выкрашенном зелёной краской подоконнике раскрытого окна заметил курицу.

Она сидела, наклонив пёструю голову набок и, казалось, была единственной, кто в этом зале проникся прекрасным. Борька хмыкнул, кивнул курице и принялся играть для неё. Штраус лился певуче, пианист чувствовал вдохновение, то наклоняясь к клавишам, то выпрямляясь струной.

Курица слушала внимательно, на октавных пассажах закатывая глаза и чуть приоткрывая клюв.

В зале воцарилась тишина, даже лужанье семечек ненадолго прекратилось. Распаренный плотной рубахой Мячиков, розовый, как налитой ранет, смотрелся органично на фоне развешенных по стенам агиток о сборе урожая. Борька выдал последней аккорд. Курица охнула и, закатив глаза, выпала из окна лапками кверху. Зал брызнул аплодисментами, уже немного походившими на искренние.

Борька наскоро поклонился и выбежал на улицу. Обморочная птица чуть-чуть подрагивала крыльями в пыли и совсем не реагировала на брехавшую рядом сиплую бородатую собаку. Завидев Борьку, курица встрепенулась, выдала «во-ох» и со всех ног бросилась наутёк, подгоняемая смущением и невозможностью более высказаться о накрывшем её разом чувстве прекрасного.

В следующую субботу всё повторилось снова. Разве что репертуар у Борьки сменился, да на афише, над непременно «пеньяйте, суки» значилась неудобоваримая для колхозных желудков фраза: «В рамках месячника музыкального просвещения».

Курица появилась в окне с первыми аккордами Рахманинова. Сидела, пялилась на долговязую фигуру Борьки в мешковатом бархатном пиджаке и, приоткрыв клюв, тихонечко вздыхала. Борька выделывал длинными пальцами виртуозные кренделя, тряс напомаженными по случаю концерта космами и нет-нет да и кивал курице, мол, мы-то с тобой одни понимаем музыку. Курица соглашалась, прикрывала веки, а когда Борька перешёл к финальной части всё той же переложённой для фортепиано «Польки» Штрауса-сына, замерла, будто выключили в её нутре дыхательный вентилятор, а на последних аккордах охнула и потеряла сознание. Только лапки в окне и промелькнули.

Колхозники загромыхали ладошами.

Борькина жизнь в Жихаревке усердиями Мячикова была заполнена настолько, насколько это вообще было возможно: по будням он вёл два музыкальных кружка для детишек и два для взрослых, репетиторствовал с толстой румяной дочкой председателя колхоза и ещё горсткой околоначальственной детвы, а по субботам непременно давал концерты.

За три месяца, определёнными какими-то высшими силами, недовольными Борькой, в качестве жихаревской ссылки, он переиграл всё, что выучил в училище и доучил «по ходу дела», и не было ни одного такого дня, чтобы не приходила его послушать пёстрая курица.

Она вздыхала, наклоняла голову набок, прикрывала глаза на глассандо и октавных пассажах, а заслышав последние аккорды штраусовосыновьевой «Польки» охала и выпадала из окна в полном и счастливейшем птичьем обмороке.

Борька дал ей имя – Элоиза и не без труда, через местного почтальона, выяснил, что курица принадлежала бабке Луковой, и что эта самая Лукова курицей своей в последнее время недовольна, потому что та перестала нестись и шляется, шалава, где попало.

– Ты, Элоизка, давай, от обязанностей своих не отлынивай! – отчитывал Борька лежащую под окном курицу после очередного концерта. – Яйца, слышь, неси давай! А то в суп пустит тебя Лукова!

Курица медленно приходила в себя, поднимала осоловелые глаза на Борьку и, когда до её сознания доходило, что это сам маэстро, выдавала неизменное «во-ох», вскакивала, обдав его пыльным облаком, и со всех ног неслась прочь.

– Жениться тебе надо, – качал головой Мячиков. – И в город валить. Пропадёшь здесь. В городе хорошо. Там филармония. Заведёшь полезные знакомства...

Мячиков произнёс «заведёшь знакомства» с такой кислой физиономией, как если бы сказал «заведёшь вшей», поморщился и продолжил:

– Напишу тебе ходатайку в райком.

И не обманул. Написал.

По осени, когда закурились красной дымкой деревья, а дождь прибил тяжёлую пыль к земле, пришёл Борьке ответ из города, что берут его каким-то младшим, очень младшим кем-то при филармонии. Борька на радостях, как положено, решил проставиться. Собрал почти всю Жихаревку в клубе, на заработанные деньги купил водки, а уж овощи и пироги местные нанесли с лихвой, как на Маланьину свадьбу.

Далеко за полночь, когда от выдохов «провожающих» падали замертво ядрёные мясные комары, кто-то пискнул: «Полечку», «Полечку» сбацай!

Хмельной Борька подсел к роялю и ударил по клавишам.

С первыми аккордами на подоконнике возникла Элоиза, как будто нарочно сидела под окном и ждала. Малопоющий по жизни Борька играл старательно, по памяти, но водка взяла своё: не доиграв до конца он икнул и на последних секундах выдал пару фальшивых нот. Колхозный люд этого не заметил. Но заметил сам Борька. Взяв финальный аккорд он минуту сидел, уставившись в лакированную челюсть рояля, и не решался посмотреть на окно. Когда же решился, то к ужасу своему заметил Элоизу, не упавшую в обморок, а сидевшую прямо на подоконнике и глядевшую на Борьку удивлёнными округлыми глазами.

Борька встал, опрокинув табурет, и виновато пожал плечами. Элоиза спрыгнула с подоконника на землю, веерно взмахнув короткими крыльями и, переваливаясь с боку на бок, пошла от клуба прочь. В свете тусклого фонаря Борька к досаде своей заметил, что она ни разу не обернулась.

Через месяц Мячиков написал ему в письме, что Лукова хвасталась, мол, курица её пёстрая взялась за ум и начала приносить ежедневно яйца, беленькие и хорошенькие, как ангельское темя. И что больше со двора не бегала.

Много лет спустя Борис Натанович Бирман, ставший известным пианистом, перебрался в Москву, завёл импресарио, с успехом гастролировал по Европе и Америке, но непременно каждый концерт заканчивал фортепьянной версией «Польки» Штрауса-сына. Внимательный зритель мог бы заметить, что на последних аккордах маэстро набирал в грудь воздух и краем глаза косился на ближайшее окно – фальшивое или настоящее, стрельчатое или круглое, после же недовольно выпячивал нижнюю губу и тяжело вздыхал тихонечко «во-ох».

## Владимир Глазов

### «Вдруг оторвешься от стишка...»

Вдруг оторвешься от стишка  
и выглянешь в окно.  
И вроде бы лежат снега,  
а все одно – черно.

Бывает, с книжкой пролежишь  
и день, и два, и три.  
И вроде бы прекрасна жизнь,  
откуда ни смотри.

И вроде бы летишь, летишь  
в неведомы края...  
А это ты в снегу лежишь.  
Неужто, вправду, я?

Ну, вот же, встал из-за стола.  
Стою, вот, у окна!  
А надо мной сыра земля.  
А все вокруг – война.

## Партия в шахматы

Я не вижу вперед ничего.  
Пережит (д) ок я на сорок третьем.  
Мне пора бы взять самоотвод,  
да докука потом женам-детям.

Только помню: больницы, детсад,  
школу, снова больницы за лесом.  
Первый шахматный – с шахом – разряд  
и разряды электрофореза.

В общем, так себе вышел дебют.  
Похоронные марши генсеков.  
Пешки ходят вперед, и их бьют  
во дворах малолетние эки.

Но пока еще есть что на стол  
деду с бабой поставить на праздник.  
Жаркий спор-разговор про футбол —  
самый острый, но и безопасный.

Ах, какая команда была  
Малофеева! И Прокопенко  
что творил! – «Очередь подошла, —  
баба вставит, – на финскую стенку».

Неплохая позиция... Мал,  
хоть болезнен, удал и, упорный,  
я не только играл, я читал,  
понимал, что и жить мне за черных.

Вот, наверное, здесь переход  
от фигур на доске к черным строчкам.  
И не финскую стенку трясет,  
а берлинская рушится в клочья.

Будут жертвы, я знал, и нытью  
предпочел комбинации в стиле  
наглom, чтобы хотя бы ничью  
боги сами, смеясь, предложили.

Не с руки им играть в поддавки.  
Но не я выбирал жизнь такую.  
Шепотком сочиняю стишки,  
продолжаю партейку вслепую...

## «И медленно и неправильно...»

И медленно и неправильно,  
как Веничка завещал,  
живешь пограничным барином,  
с утра наливаешь чай —

к полудню лишь чаша полнится.  
Хлебнешь, так, разок-другой.  
И что только, черт, не вспомнится...  
А было ли то с тобой?

Бывает, лишь только к вечеру  
от стенки взгляд отведешь.  
Ну, что ж ты, дружок, так нервничаешь?  
Весь в пепле. Ну, что ж, что ложь

с любовью смешал? Выкрадывал  
объятия впопыхах.  
Ведь если и жить по правилам —  
по правилам языка,

когда накрывает грамматика  
в квартире полупустой.  
И ты посреди Адриатики  
лишней стоишь запятой.

## В потемках

Чужая, говорят, душа – потемки.

Пять лет брожу в потемках, собирая  
насущенный хлеб заплесневелый:  
сухие корки дат, мякину  
войн, революций и репрессий,  
и месиво, и крошево костей.

Там-сям скребу сусеки, а душа,  
как черный маленький котенок,  
не ведаю, в каком углу,  
мурлычет жалобно и просит  
не молочка, так хоть водички.

И правда, человек есть то,  
что ест он. Призрак  
или тень, давно оставившая тело,  
плывет в неведомом пространстве,  
по невесомым клавишам стучит —  
далеких духов вызывает.  
Они молчат. И слава богу, что молчат.  
Заговори они – что это будет?  
Вранье, жеманство, светский лепет,  
гусарская бравада, анекдот,  
катрен альбомный с пошленьким намеком...  
История, Джойс говорил, кошмар,  
который снится и нельзя проснуться.

Давно оставившая тело тень  
плывет в неведомом пространстве,  
по невесомым клавишам стучит,  
в испарине, едва не задыхаясь, —  
проснуться все никак не может,  
ни почесаться, ни зевнуть, ни подрочить...

## 40 ватт

Тьма дневная иль ночная —  
лампа светит в 40 ватт.  
Я всего лишь уточняю  
жизни медленный распад.

Существительная скука.  
Прилагательный покой.  
40 ватт на всю округу.  
Правой левую жму руку:

«Здравствуй, здравствуй, дорогой!  
– Как дела? – Да помаленьку...  
– Выйдем, что ли, на балкон?  
– Нет, давай смотреть на стенку...  
Облака за горизонт  
уплывают... – Незнакомка  
крутозадая идет...  
– Так, дружок, давай заткнемся!  
Слушай музыку без нот...»

## «Я научился жить не торопясь...»

Я научился жить не торопясь.  
Живу по солнцу – пастушок-простушка.  
Прирученная мною каждый час  
не истерит настенная кукушка.

Мой сон послеобеденный тяжел.  
Проснусь, вино студеною водицей  
разбавлю... Пригублю... И хорошо...  
Зачем душа обязана трудиться?

А в сумерках приходит нимфа. С ней  
за день мой легкий до утра награды...  
С зарей мне снится список кораблей  
и вспененные строки «Илиады».

## **«У меня налицо черты оседлости...»**

У меня налицо черты оседлости.  
Я пишу, к своей обращаясь светлости,  
из предместий неисчислимой давности  
человеко- и бого- оставленности —  
все равно, какого уезда, волости:  
«Здесь одни и те же, дружок мой, новости:  
то военный смотр, то ремесел выставка,  
а то крестный ход по граблям неистовых.  
День за днем, дружок мой, с утра до вечера,  
из воды болот выпекают печево.  
Из печи несут, а оно уж черствое.  
Говорят, что сладкое, да и черт же с ним.  
Закрома до верха полны той черствостью.  
Вековые кажут друг другу новости —  
все равно, какого уезда, волости...»

## «Чепуха, говорю, ерунда, пустяки...»

Чепуха, говорю, ерунда, пустяки.  
Но гляди – на балансе одни «висяки»  
бытовые – убрать, подмести,  
протереть. Показанья последней среды —  
электричества, газа, тепла и воды —  
хватит, чтоб под статью подвести.

А еще, говорю, ворох дел: то пришить,  
то в подвал отнести, а то карандаши  
заточить... Говорю тебе – речь  
лишь о том, чтобы выжить. Другие дела  
не распутать уже. И под сердцем дыра.  
Надо все же промыть и прижечь.

## Улья Нова

### Темнота

Темнота нависает, сгущается. Бродит по комнате, выплясывает, кружит. Темнота рисует пальцем над Витиной макушкой кружевные виньетки с черными завитушками. Не дает уснуть, отбивает чечетку каплями на комод, мечется из конца в конец комнаты, скрестив тоненькие ломкие ручки на груди. Темнота прыгает и летает под потолком, вглядывается в лица, бледнеющие с черно-белых фотографий над его письменным столом. Темнота сворачивается клубочком вокруг карандашницы, а потом до рассвета сидит на широченном подоконнике, обхватив коленки руками, изредка отрывисто всхлипывая и со всей силы щелкая пальцем стекло.

Соседка снизу – старушенция с вечно трясущейся головой, будто она на каждом шагу норовит избавиться от войлочной шляпки со свалявшейся войлочной розой. Однажды она подошла к Вите во дворе и настойчиво прошептала: «Так и знай, мальчик: чего сильно задумаешь, то и будет. Чего пожелаешь всем сердцем, то и случится. Поэтому думай осторожней.

И мечтай аккуратнее, чтобы потом тысячу раз не пожалеть об этом».

Произнося эти слова, она крепко держала Витю за запястье и вглядывалась водянистыми глазами в самое его нутро. Вспыхнув, растерявшись, Витя хотел заплакать, но потом со всей силы выдернул руку из цепкой старушечьей клешни, вырвался и убежал. Старушенция потом несколько раз жаловалась матери, настаивая на том, что ее сын – дикий и невоспитанный, поэтому за ним надо бы как следует приглядывать. И вообще быть с ним построже.

Все началось тем вечером, когда родители неожиданно заперлись в комнате и долго шипели друг на друга. Вите ничего не оставалось, как притаиться под столом в детской и тревожно вслушиваться, улавливая разрозненные клочки их разговора. Сиплый, тихий басок отца. Визгливый, слегка гнусавый голосок матери. Всклипы. Отрывистые выкрики. Настойчивый стук ложки по батарее – снова разбудили эту вредную старушенцию снизу. Вязкая тишина, длившаяся не более пяти секунд, мгновенно прорастала недовольным шепотом, возобновляющимися перепалками. Через неделю появился маленький чернявый Илюша. Его привели в воскресенье, после полудня, замотанного в вязаный шарф, укутанного в синюю курточку, которая была велика на пару размеров. Два черных цыганских глазка с птичьей проворностью сновали по стенам, скользили по мебели, а ручки с тонкими длинными пальцами ухватили за хвост плюшевого кота и крепко прижали к груди.

Родители с какой-то незнакомой, особенной прилежностью объяснили появление Илюши отъездом его матери, «нашей» дальней родственницы, на север. Понимаешь, – говорили они наперебой, как-то медленно, слегка убаюкивая, – его мама уехала на север, далеко-далеко, туда, где всегда холодно и темно.

Илюша был малоподвижным, тихим и молчаливым. Он как будто слишком увлекся и никак не мог прервать игру «морская фигура, замри». Он замирал в кресле. Замирал за кухонным столом, никогда не болтал ногами на высоком незнакомом табурете. Но чаще всего Илюша замирал возле подоконника, положив голову на руки, без интереса вглядываясь в вечернюю улицу. Потом оказалось, что Илюша немой. Неожиданного и неудобного гостя разместили в детской, на купленной по случаю его прибытия деревянной кровати, из-за которой родители по полуночи двигали мебель, стараясь быть бойкими, не подавая вида, что оба озадачены и раздражены.

Теперь Витя должен был спокойно сносить, когда этот Илюша без спроса роется в шкафчике с игрушками. Теперь Витя должен был с доброжелательной улыбкой наблюдать за бездумными движениями узловатых пальцев гостя, отрывающих колеса от грузовика и наклейку – от гоночной машины.

Вечерами Витя теперь бродил вокруг дома, ощущая чужую влажную руку, крепко впившуюся в собственную ладонь, будто кто-то сплавил две руки так, что их никогда уже больше не удастся разъединить. Молча, без дела, они вдвоем маршировали в темноте, вокруг зловещей громады здания со множеством светящихся глаз. Он чуть тащил Илюшу за собой, спеша поскорее совершить положенные им десять обходов гуляния и вернуться домой. Он старался не замечать смешки играющих во дворе бывших своих приятелей, которые быстро во всем разобрались и начали дразнить его нянькой. Совсем скоро у Вити не осталось друзей во дворе, никто не хотел брать немого в компанию, впускать немого в свои игры. Скоро у Вити не осталось никого, кроме этого вечно молчащего задумчивого галчонка, который любит сидеть у окна, никогда не говорит «спасибо» и, забившись в уголок детской, пугливо глотает пирожное, целиком, давясь, кашляя до слез, боясь, что угощение отнимут. Витя почти ежедневно получал оплеухи от отца за нежелание учить язык рук, за очередное непонимание знаков, которые делал ему Илюша, внушавший все большее отвращение этой своей зловещей немотой, за которой пряталась пугающая неизвестность и, возможно, какая-то страшная и печальная тайна. По утрам немой подолгу замирал перед зеркалом в ванной, шмыгал носом, кашлял от зубной пасты. По вечерам, затаив дыхание, этот невыносимо скучный Илюша часами без движения сидел у окна, вглядываясь в синюю темноту двора. Иногда он неожиданно прыгал на постель и лежал, уткнувшись лицом в подушку, мыча что-то неразборчивое, тревожное, мучительное, так, что сразу очень хотелось убежать без оглядки.



Витя все чаще испытывал разрастающееся в груди, сводящее руки и ноги желание, чтобы незванный гость поскорее сгинул, исчез, растворился. Однажды он не сдержался и отвесил немому несколько подзатыльников перед телевизором, чтобы тот подвинулся, а не сидел, с громким хрустом уминая крекеры, осыпая все вокруг крошками, перегородив экран, словно находится в детской один. Возможно, в тот раз Витя был даже слишком жесток и поколотил гостя сильнее, чем надо бы. Немой тихо всхлипнул, насунился, направился в комнату родителей, но все же не пожаловался, может быть, просто не сумел подобрать нужные слова жестами своих бледных ладоней и плетением кружева длинными костлявыми пальцами.

Ночью можно было ненадолго забыть о существовании немого, не обращать внимания на его тихое сопение и редкие слабые стоны. Иногда под утро, пошатываясь, призраком передвигаясь по комнате, Илюша зачем-то подходил к Витиной кровати, касался холодной ладошкой плеча. Тряс.

Белесое пятно лица, вздыхающее в фиалковом свете, одними губами беззвучно пыталось что-то сказать. Витя отворачивался. Сжимался. Накрывался с головой одеялом. Его потом долго трясло от ярости, он лежал, поджав ледяные ноги, изо всех сил сдерживая выкрик: «Отстань, ненавижу тебя!»

Болезнь дала о себе знать неожиданно: немой начал худеть. Проступили синие узоры сосудов на висках, настороженные черные глазенки заметно ввалились, вокруг них возникли серо-синие круги. Пухлые детские щечки утратили румянец, вскоре белесая кожа обтягивала худенькое утомленное личико. Нос, напротив, стал длинным и заострился, придавая мальчику еще большее сходство с галчонком. Воспаленные обкусанные губы стали тоньше и бледнее, как будто кто-то каждое утро капал на них растворителем, вскоре лишь узенькая белесая полоска обозначала рот. Хрупкие прозрачные ладошки с узловатыми пальцами теперь всегда были ледяными. Прозрачный и тусклый, Илюша подолгу неподвижно сидел в углу, широко распахнув глаза, словно пытался расслышать неуловимую мелодию, упрятанную в шум, помехи радио, гудки улицы, скрипы паркетин, голоса. Немой несколько раз сам пытался объяснить жестами, что он чувствует. Он жаловался на такую особую боль, как будто кто-то выпивает его через трубочку, оставляя во всем теле нарастающую слабость и головокружение. Вскоре его худоба стала бросаться в глаза соседям, прохожим. Люди на улице указывали пальцами:

– Смотри, какой слабенький мальчик, похож на птичку. Как же он, наверное, мало ест.

Та самая трясущаяся старушенция снизу при каждой встрече настоятельно рассказывала матери про малокровие у детей. В мутных глазах старухи читался упрек: «Своего-то кормишь, а чужого заморила». Мать оправдывалась, что аппетиту племянника можно позавидовать. И гемоглобин у него в норме. И анализ крови в порядке. А сама, смутившись и опечалившись, опускала глаза, спешила поскорее уйти.

Однажды отец, желая как-то отвлечь немого от этого упрямого вслушивания в тишину, подвел его к дверному проему, на котором отмечал рост своего сына и недавно стал отмечать рост племянника. Илюша, полюбивший этот ритуал, с готовностью прижался спиной и затылком к дверному косяку. Он старательно расправил острые плечики в байковой клетчатой рубашке. Почему-то отметка роста оказалась на два сантиметра ниже той, что сделана месяц назад. Так выяснилось, что мальчик не только худеет, но и медленно уменьшается, словно с каждым днем чуть-чуть растворяется и тает. После этого родители стали наблюдать и вскоре убедились: увы, ребенок теряет не только в весе, но и в росте. От утра к утру это становилось все более очевидным. Казалось, немой таял по ночам, не в силах поведать об ужасе и боли, обволакивающей его мокрым мышинным нейлоном.

Под утро Илюша все чаще приглушенно стонал, всхлипывал и ворочался до тех пор, пока в комнату не врывался кто-нибудь из взрослых. Включали свет, садились на краешек кровати, гладили страдальца по голове, читая слабость и страх в воспаленных детских глазах.

Яркая вспышка света врывалась, раскалывая сон. Удар света парализовывал, заставлял Витю натянуть одеяло на голову, сжаться и слушать голоса родителей, шелест, шаги у Илюшиной кровати. А еще иногда – всхлипывать и спросонья шептать на все лады: «Я тут ни при чем. Эта старушенция снизу все выдумала. Я не хотел. Он заболел сам».

Днем Илюшу пичкали витаминами, шалфеем, размятыми в чайной ложечке таблетками глюконата кальция, лимонами, творожной массой с кусочками фруктов, шоколадками в красочных фантиках, запеканками, булочками и куриным бульоном. Днем немного кутали, покупали ему игрушки, водили в цирк, в сосновый лес дышать смолистым воздухом. Потом повели по докторам, которые советовали каждый свое – один – заниматься оздоровительной физкультурой, другой – съездить в Коктебель, третий – пройти курс физиотерапии. Четвертый, именитый профессор детской больницы, порекомендовал полугодичное лечение новым японским препаратом «Най-ши», одна упаковка которого стоила половину зарплаты отца. Доктор из Филатовской больницы советовал удалить гланды и аденоиды. Частный врач настаивал на удалении только гланд, закаливании и контрастном душе. И, наконец, врач-ирландец с международным дипломом направлял на обследование в клинику английского центра здоровья семьи. Никто не мог объяснить, что стряслось с ребенком. Тем временем мальчик продолжал таять. Родители самостоятельно пришли к выводу, что это странное необъяснимое истощение происходит в основном по ночам. Они стали поить Илюшу перед сном медом, отваром валерианы, липовым цветом, смазывали ему пятки прополисом, прикладывали листки подорожника к вискам. Читали ему на ночь веселые, нестрашные сказки. Они по очереди сидели у кровати, держа Илюшу за руку, которая тем временем, не переставая, продолжала таять.

Однажды, когда болезнь уже перешла в тяжелую стадию, вся семья проснулась ночью от тягостного стога и приглушенных всхлипов, мечущихся по квартире обезумевшей стаей скворцов. Вытащив немного из постели, родители повели его, укутанного в плед, на кухню. Прижавшись к косяку кухонной двери, наблюдая родителей, суетящихся вокруг Илюши, в длинной майке и спортивных штанишках по колено, заменявших ему пижаму, Витя затих и наблюдал. Отец взял мать за руку и, указывая глазами на сонного, закутанного в серый шерстяной плед Илюшу, прошептал:

– Смотри, это происходит не просто ночью, это происходит в темноте.

Так догадались, что Илюша истощается, когда комнатка погружена во мрак или когда помещение слабо освещено. На следующий же день Витю перевели спать в гостиную, на неудобный диван с большими и жесткими валиками. В детской по настоянию матери два электрика прикрутили к потолку галогеновые лампы. С тех пор там всегда горел свет, отчего истощение мальчика немного замедлилось. Теперь по ночам, в сгустившейся темноте, в коридоре скрипели паркетины, за дверью гостиной шептались еле слышные голоса. Стоны, снова хождение, голосок матери, бодро и ласково читающий: «Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот, задом наперед».

Однажды, прислушавшись, Витя уловил сквозь плеск льющейся на кухне воды приглушенное шипение отца: «В конце концов, это же твои родственники. Я не виноват, что мальчик потерял родителей. Вот увидишь, он заразит нас всех. Я не хочу болеть, не хочу скитаться по больницам... Ты всегда думаешь о ком угодно, кроме меня». Упавшая на пол железная крышка или миска, прозвучавшая какой-то роковой литаврой. Тишина. Шаги. Шелест. Хлопнувшая входная дверь.

Утром Витя не спросил, почему отца нет дома. Не спросил и потом. Они боролись с болезнью немного вдвоем с матерью. Оказалось, что еще одним врагом была тень: прохладные тени деревьев, тени домов, даже тени людей вызывали мгновенное обострение. Илюша блед-

нел, словно тени высасывали его внутренности и силы, делая все тоньше, все тише. Вскоре Илюша был вынужден круглые сутки сидеть в детской при включенной лампе дневного света, прижимая худенькими ручками к груди плюшевого кота. Состояние мальчика стало критическим, мать за чаем все чаще говорила сама с собой о том, что больного может погубить одна единственная темная ночь. Одна ночь – и все будет кончено, – причитала мать, всхлипывая, ломая руки, наливая себе коньяк в маленькую граненую рюмку.

От этого страх и тревога начинали метаться по телу Вити стаей осенних галок. Его внутренности чернели. Он снова начинал невыносимо сожалеть о том времени, когда Илюша только-только появился в их доме, такой тихий, испуганный, в синей клетчатой рубашке, часто замирающий по вечерам у окна. Как можно было на него сердиться? Если бы не болезнь, сейчас они, наверное, уже стали бы настоящими друзьями, играли в железную дорогу, строили во дворе песочную крепость и закапывали в тайники вокруг дома солдатиков, машинки и всякие другие свои сокровища. Теперь Витя отдал бы все игрушки и даже свою новую зимнюю куртку, лишь бы Илюша поправился и больше никогда не стонал по ночам. Но его сожаления и его дары ни на что не влияли. И лучше не становилось.

Прошел год. Илюши уже практически не было. Он превратился в маленький бледный призрак, в худенький обмылок-послед. Неподвижно лежал на кровати без покрывал, без одежды. Часами разглядывал пространство перед собой немигающим, жалобным взором цвета утреннего тумана. Отец так и не вернулся, о нем постепенно совсем забыли за бесконечными хлопотами вокруг больного. Болезнь не отступала, она со временем лишь затаила дыхание, замедлила шаги, будто дожидаясь любой нечаянной, едва уловимой тени, которая сумеет ворваться и выпить все силы до последней.

В ту ночь ранней весны квартира неожиданно погрузилась во мрак, словно лопнул шар, наполненный черной ваксой, которая тут же растеклась повсюду. В первый момент Витя и мать, сидевшие у кровати Илюши, даже не поняли, что произошло. Они застыли и замерли в оторопи, в нарастающем ужасе. Опомившись, мать подбежала к окну, раздвинула шторы и поняла, что окна всех соседних домов тоже темны. Дрожащими руками она чиркала спичкой, пыталась зажечь свечки в тяжелом чугунном канделябре. Пламя плясало от сквозняка, спички гасли в ее торопливых трясущихся руках. Крепко сжимая канделябр, мать подошла к кровати Илюши, который за это время уменьшился почти вдвое и, тяжело дыша, исчезал на глазах.

Мать металась по комнате, распахнула окно, закричала темным ослепшим домам: «Помогите хоть кто-нибудь!». Она рвала руками черные, чуть седеющие волосы, утирала слезы рукавом растянутого свитера, а Витя судорожно искал закатившийся куда-то фонарик, чтобы осветить комнату хоть немного. Крохотный, бессловесный, едва различимый контур ребенка с большими испуганными глазами тихо стонал, пожираемый темнотой. Фонарика нигде не оказалось. К утру Илюши не стало.

С тех пор темнота изменилась. Илюша незримо присутствовал в ней, вызывая страх и тревогу с приближением вечера, будто совсем скоро предстоит решающий разговор. Расплывчатые контуры предметов таили в себе молчаливый укор, смутное присутствие, неотделимое от мрака.

В одну из ночей сытая темнота загустела и окутала комнату, прислушиваясь к приглушенным рыданиям Вити под одеялом. К утру он выткал пальцами, зовущими: «Илюша, Илюша!» черный платок тончайшего, невесомого кружева. И положил его на подушку пустой кровати.

Со временем Витя заметил: утром темнота растворялась, поспешно подбирая оброненные тут и там лохмотья. Тонкую вуаль с пола, чулок, поникший на дверце комода, шаль, ском-

канную в углу, черное манто из-за двери, плащ, расхристанный по потолку, – еще недавно принадлежащие кому-то, кто теперь растворился во мраке.

Утром темнота уходила, воровато оглядываясь по сторонам, вжимая голову в воротник. Становилась все тоньше, все жиже, пока не начинала казаться смешной, пока не смешивалась с обрывками снов, ускользящими внутрь ночи.

Спустя сотни чашек полуночного чая, после вороха ночных газет, пробегаемых наискось, чтобы отвлечься от сожаления, после целого шкафа предрассветных книг, пролистанных от невозможности покоя, ускользящая от первых лучей темнота все же захватила и унесла с собой черный кружевной платок Витиной печали. С тех пор стало легче, не так горько и его бессонницы почти прошли.

## Игорь Казаков

### В Немало-Яицком автономном округе

в Немало-Яицком автономном округе  
оленеводы живут с открытыми окнами,  
потому что, случись такая оказия,  
комар в окно все равно не пролазит,  
стесняется  
ночи здесь удивительно теплые  
немальцы спят на снегу с оленьими тёлками  
шкуры рыхлят костяными тятками  
и на рогах как гамаки их растягивают  
мягко так

случается, день не на шутку затягивается  
немальцы латают пимы да малицы  
чумы ломают да делают сызнова, де  
не затеряться в окружающей их среде,  
в которой  
сидят немальцы со своими немалками  
мошку гоняют немалыми палками,  
глядят, как мальцы их, немало-яицкие  
на бегу за ягель цепляются  
маются  
выходя до ветру, не забудь о хорее,  
потому что олешек почти звереет,  
а перед тем, как выкопать ямку,  
гони его трехэтажным ямбом  
все равно вернется

главком по китам у них – юнга Дудочкин,  
*бывалоча* – свистнешь, а он уже туточки,  
и, что характерно, мужик ни разу  
китов не возил меньше двух баркасов,  
полных  
навалит их, значит, на берег горкой,  
коты сбегаются, ныряют в ворвани,  
и то сказать, – здесь коты *такуишише*,  
что двух китов в одиночку кушают,  
радуются

северное сияние перетекает в летнее  
солнцестояние, и время движется петлями,  
белые медведи к весне становятся бледными,  
карибу прирастают оводами, слепнями

толстыми  
сплетнями прирастают талые пустоши,  
камнями, стлаником, гусями, судорожно  
впитывая в себя вертолеты  
шпаро, геологов, водку паленую  
злющую

до Карибов далёко, как карибу до разума  
а разум отказывает, если глазу  
зацепиться не за что, кроме мхов да осок  
да болот между сопок, где твой голосок  
одинокий  
передает разве варганчика дребезжание,  
где тундра в травах натужно рождает  
человека, и все подвиды его,  
на южном берегу Северного Ледовитого  
океана

## Снова лето к тебе подойдет

Позабудь про блаженный уют.  
Комары кахетинское пьют  
из тебя, и с тобою пьянеют.  
Да и сам ты, подобно Энею,  
на печальное море глядишь,  
и печальная треплется лента  
на плече загорелого лета,  
и в кармане твоём – гладь да тишь.

Зацелованный волнами пес  
тебе верную службу принес  
на зеленом подносе залива,  
подошел, мокрый нос, как малину,  
на ладони твои положил  
и глазами спросил – Уезжаешь?  
И тоска словно море большая...  
– Понимаешь, дружок – это жизнь.

Защекоченный травами кот  
тебе вечную верность несет  
и к ногам опускает. А верность  
поутру себя чувствует скверно  
и не дышит. А ты эту мышь  
на ладони положишь, подуешь,  
обругаешь кота-обалдуя,  
и обоих, живучих – простишь.

Снова лето к тебе подойдет,  
улыбнется собака, и кот  
как умеет, тебя пожалеет.  
И волна на бегу ошалает —  
это – лета отчетливый вздох.  
Бьется тонкая жилка в ключице,  
если что-то теперь и случится —  
ты уже ни к чему не готов.

## Юркий зимородок синий

Юркий зимородок синий  
осторожной острогой  
протыкающий корзину  
частых веток над рекой

Красный зимородок храбрый  
достающий из воды  
растопыренные жабры  
и колючие хвосты

Переплеск лазурных крылий  
алой грудки пустячок  
ты – тревожный красно-синий  
проблесковый маячок

Ты комочек аметиста  
в Посейдоновой браде  
с тонкой рыбкой серебристой  
на серебряном шесте

Наблюдающий сторожко  
мироздания тишину  
над текучею дорожкой  
убегающих минут

Сам себе богоугодный  
смертоносной острогой  
из вселенской непогоды  
добывающий огонь

## Эта женщина

*«...вселенная – место глухое»*

**Б. Пастернак**

эта женщина, девочка, фея бумажной трухи,  
что слагает стихи, невпопад свои прелести тратя,  
и ложится под утро, устав от большой чепухи,  
на кисельных полях тридевятой заветной тетради

занимается утро, скисает молочная взвесь  
обливных облаков, под неспешного грома рулады,  
и пребудет с тобою отныне, вовеки и днесь  
изумительно-синее, в тонких прожилках прохлады

на плите заворчит молоко и затеет побег  
обернется в цвета побежалости флюгер на спице —  
это пятит привычную ношу старик-скарабей  
и сажает на мокрую кочку – слегка охладиться

эх, калина-малина, лучок, сельдерей, пастернак, —  
это стрелы в спине, это – слёзы вселенной в лопатках —  
сорок строчек гороха – и лилии – по сторонам,  
точно – лист из последней, еще не закрытой тетрадки

не похожая голосом на площадных горемык, —  
то ли звезды в листве, то ли шепот в ответ – она слышит —  
на затейливых скатах упрямым горохом гремит  
скарабеева терема пирамидальная крыша

эта женщина... в листьях травы, и в траве языка  
обитавшая долго, – под вечер, с холодной досадой  
понимает внезапно: пернатую рифму искать —  
что горох под периной, – ей некогда – да и не надо

## Гражданское

Каштаны листья сбросили.  
Бредет себе один  
по осени, по осени  
свободный гражданин.

Не венчана – не брошена,  
спешит себе одна  
красивая, хорошая  
гражданская жена.

Светло и по-есенински,  
среди родных осин,  
в больничке алексеевской

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.